

Константин Леонтьев

**Ваня,  
едет  
в Сталинград**

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Константин Леонтьев  
**Ваня, едем в Сталинград**

«ЛитРес: Самиздат»

2018

**Леонтьев К.**

Ваня, едем в Сталинград / К. Леонтьев — «ЛитРес: Самиздат»,  
2018

ISBN 978-5-532-99230-6

Они встретились спустя пятьдесят лет после одной из самых кровопролитных битв в истории человечества. Встретились, чтобы закончить каждый свою войну. Бывшие враги, связанные друг с другом историей одного человека. Что произойдет после и какие будут сделаны выводы? Это повесть о человеческих судьбах, о поколении, которое ушло, о его отношении к тому, что случилось с нами! Содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-532-99230-6

© Леонтьев К., 2018  
© ЛитРес: Самиздат, 2018

# Содержание

Часть первая	5
1	5
2	10
3	14
4	19
5	26
6	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

# Константин Леонтьев

## Ваня, едем в Сталинград

### Часть первая

#### 1

Иван Петрович занемог. Как ударила бодрая апрельская капель, с тех пор и занемог. Долго крепился, вида не подавал, не жаловался, но сын Алексей заметил, что отец осунулся: под глазами легли темные синяки, отчего взгляд из-под косматых бровей сделался более глубоким, но в то же время отталкивающим и злым; изменилась походка, в движениях появились усталость и медлительность.

По ночам в комнате Ивана Петровича бормотал телевизор, слышались приступы кашля с ворчливым бурчанием в конце, с легким дребезжанием открывалась оконная рама, после чего начинало тянуть табачным дымом. В другой раз тишину квартиры вдруг разрывали шипение и скрежет радиоприемника, у которого старик всегда забывал убавлять дневную громкость и который никогда не мог надежно удержать волну, ... и это было уже чересчур!

Жена Алексея Люда просыпалась с тем неприятным обмирающим чувством прерванного сна, когда кажется, что тебя опустили в холодную воду, сердито толкала мужа в бок и сонному, плохо соображающему свистящим шепотом начинала выговаривать, что ее терпение на пределе, что скоро она получит нервный срыв и что все это устраивается нарочно: старый мстит за свою бессонницу – сам не может уснуть и другим не дает!

– Не обращай внимания! – отвечал Алексей и перекладывался на другой бок, чтобы моментально уснуть снова.

Но как не обращаться, когда человек ведет себя вот так бесцеремонно, не думая о покое других?! Переполняясь возмущением, Люда еще долго успокаивала саму себя, мысленно желала свекру немощи, чтобы лежал и не шорохался ночами. А еще лучше, чтобы окончательно уже угомонился... Прости, Господи, мысли наши!

Утром начинались хлопоты. Собирая сыновей – одного в школу, другого в садик, а себя на работу, Люда пребывала в дурном настроении и не желала скрывать это. Она отчитывала младшего Егорку за капризы, грозила отдать в садик насовсем, доводя этим сына до слезливых выкриков встречных угроз, а старшему Димке успевала выговорить за невыученный урок и до самых дверей преследовала его скороговоркой наставлений. Ей казалось, что упусти она хоть что-то из этой ежеутренней мантры, с Димкой непременно случатся неприятности.

– И не воротись от меня, а слушай! – Люда притягивала к себе напоследок уклоняющуюся голову сына.

Димка терпеливо принимал материнский поцелуй и уходил, незаметно оттирая его ощущение со щеки. Люда же переводила дух, чувствуя себя совершенно несчастной от этих бесконечных забот. Из зеркала в коридоре на нее смотрела раздраженная увядающая женщина, давно утратившая привлекательность и уже не пытающаяся ее вернуть. Все это наведение утреннего макияжа – уже не более чем ритуал: сколько ни маскируй складки и морщинки, сколько ни три мешочки под глазами, никогда уже не увидишь в отражении ту, которую когда-то запомнила в годы скоротечной молодости...

С этими печальными мыслями Люда открывала объемистую косметичку и специально громким голосом начинала подгонять Егорку одеваться. Теперь ее черед шуметь. Хотите

спать? Спите ночью! И она топала, покрикивала, а в завершение всякий раз старалась по сильнее стукнуть табуретом, на котором вертела свое крупное тело, влезая в разношенные сапоги.

Все было бесполезно. Иван Петрович не реагировал. Зато в коридоре с красным отпечатком подушки на щеке, с поднятым вихром уже сильно прореженных волос показывался заспанный, близоруко шурящийся Алексей и начинал выговаривать за шум.

– Спать меньше надо! – огрызалась Люда.

Приблизив лицо к зеркалу, она топырила губы, чтобы проверить свежий слой помады, и добавляла с откровенной неприязнью:

– Отведи хотя бы Егора в садик! Опух уже ото сна, как сурок. Когда работу найдешь нормальную?!

После таких слов Алексей вспыхивал обидой, но Люда уходила, не слушая его отповеди и всем видом показывая, что она ей не интересна, и он оставался один на один с испорченным настроением, с невысказанным возмущением.

Легко сказать – найди работу! Завод, где Алексей трудился последние пять лет, окончательно «лег на бок» и начал дробиться на множество мелких предприятий, часть из которых тут же снова обанкротились, а другие, отхватившие более мясистые куски, не нуждались в его услугах. Разве он не пытался? Разве не бился в двери бывших начальников цехов, а ныне новых директоров, не просил пристроить? Везде завернули. Или предлагали ерунду, ему, человеку с высшим образованием! Что теперь? Становиться очередным торгашом на рынке или грузчиком? С больным позвоночником много он наработает! Угробит здоровье только...

Утро и последующий день проходили для Алексея под каким-то гипнозом безделья, когда постоянно возникает позыв что-то сделать, но ты не знаешь, с чего начать, что надо совершить, чтобы выйти из этого замкнутого круга! Он маялся этим чувством, осознавал собственное бессилие, ходил курить на кухню, потому что балкон был еще по-весеннему грязен, мечтал о чуде внезапного обогащения, которое разом все исправит, и порой так увлекался этими мечтами, что начинал почти верить в них, всякий раз возвращаясь в реальность с ощущимой горечью разочарования.

После обеда из школы возвращался Димка. Как всегда, молчаливый, медлительный в движениях до вязкости, со своим неизменным «все хорошо» на любой вопрос. Димка равнодушно хлебал на кухне подогретый отцом суп, потом запирался в комнате, и образовывался своеобразный треугольник: каждый сидел у себя, на максимальном друг от друга удалении, и каждый занимался одному ему известно чем.

Иногда Иван Петрович выходил из комнаты, и тогда Алексей настораживался, старался сидеть тише, чтобы лишний раз не пересекаться с отцом, потому что в этом случае придется что-то спрашивать или, того хуже, отвечать на вопросы. И взятая при этом наугад книга, когда-то уже читанная, а то и не раз, и неумолимый телевизор, болтающий новости пустому дивану с тем же энтузиазмом, что и Алексею, – все это шло фоном до самого вечера, когда приходило время забирать из садика Егорку. И чаще всего, когда Алексей выходил одеваться, чтобы идти за сыном, он сталкивался в прихожей с отцом, который бросал на него недовольный взгляд и коротким движением руки оставлял дома. В конце концов все собирались, возвращалась Люда, и квартира оживала.

Алексей мирился с женой, и после ужина на тихом кухонном совете они начинали обсуждать прошедший день и семейные дела. Тусклая лампа едва просвечивала матерчатый абажур, тени от него рассаживались по углам, делали кухню неуютной, запущенной и какой-то сонной. Дрянной чай пах запаренным венником и имел привкус сладкой микстуры. Удивительно, как быстро они привыкли к этой гадости, нагло носящей упаковку былого, настоящего чая! Люда готовила бутерброды, мазала на хлеб желтый импортный маргарин, садилась напротив мужа, радуясь, что тот наконец-то держится с ней одного мнения, и начинала тихим грудным голосом говорить о необходимости продажи дачи.

Тема эта двигалась по бесконечному кругу уже несколько месяцев, и все аргументы и доводы жены Алексей знал наизусть и только удивлялся, как она умудряется всякий раз подойти к этому разговору с новой стороны, со свежим вдохновением!

Да, эта продажа решила бы многие проблемы. Сама жизнь после нее должна была стать совершенно иной, не как сейчас: без привкуса дешевого маргарина, без вечной нехватки самого необходимого, без унижительного безденежья. Та жизнь, о которой он порой мечтал с сигаретой. Хотя бы ее кусочек! Хотя бы на какое-то время сделать вдох благополучия, насладиться им!

Однако когда этот разговор завели с самим Иваном Петровичем, а было это первый раз еще зимой, он лишь насупился в ответ и вдруг вскинул руку и показал кукиш. Даже внуков не постеснялся, сунул под нос сначала сыну, потом снохе.

– Выкусите. Пока жив, не тронете!

Как отрезал. И доводы, столь убедительные в репетиционных беседах, сделались жалкими, пустыми.

Упертый злой старик! Слов нет, конечно, дачу жалко! Дача долгие годы была предметом семейной гордости. Не какой-то там убогий летний домик от дождя и солнца, спрятанный в куче таких же хибар садоводства-муравейника с двумя сотками надела для сортира и парника, а крепкий рубленый дом на деревенской окраине в сорока километрах от города. Электричка доносит, не успеваешь кроссворд решить, а на машине и того быстрее, даже по дрянной дороге!

Иван Петрович возвел этот дом собственноручно. Купил заброшенный участок еще в начале семидесятых. Первый раз, пользуясь статусом героя-ветерана, выписал дефицитный лес, нужные стройматериалы. Сам тесал и рубил бревна, закатывал их вдвоем с деревенским помощником Вовкой Зыбиным веревками на сруб. Работал с жадностью, не замечая пролетающий день, удивляясь его скоротечности. Останавливался, только когда Вовка замедлялся в движениях и начинал жаловаться на усталость.

– Ладно, шабаш на сегодня, – нехотя говорил Иван Петрович и засаживал топор в бревно. – Пошли вечерять.

На грубо сколоченный рабочий стол стелилась газета, раскладывались вареная картошка, яйца и сало. Вовка складным ножом резал хлеб и открывал консервы, а Иван Петрович брал с грядки зелень, окунал набранный пучок по дороге в бочку с водой, оттуда же, из бочки, доставал охлажденную бутылку водки и наполнял крепенькие граненые стопки.

Чокались по первой. Вовка торопливо и жадно набирал в рот всего понемногу, что было на столе, насытившись, выпивал еще, закуривал и начинал вспоминать войну: грязь окопную, да житуху пехотную. Говорил сбивчиво, по мере рассказа волнуясь все сильнее, поднимал рубаху, чтобы показать на боку извилистый белый шрам, описывал, как это случилось, какой жаркой была та атака под Кенигсбергом, где он схватил осколок. Хорошо, на излете – вырвало лишь клочок мяса, а рвани чуть ближе, намотало бы все кишки на горячее железо! А так в запарке боя не сразу и почувствовал! Подумалось сначала, что просто царапина.

Иван Петрович слушал Зыбина благожелательно, но взаимными историями отвечал редко и немногословно. Предпочитал отмалчиваться.

Со временем он устроил в сарае столярную мастерскую с самодельным токарным станком по дереву и годами размеренно, не спеша улучшал, украшал дом: покрывал мансарду резбой, достраивал уютную веранду, баню, возводил затейливый забор, сильно контрастирующий на фоне темных покосившихся соседских плетней. Находил в этой неспешной кропотливой работе смысл и удовольствие жизни.

Жена Нина копалась на грядках, готовила обед на тенистой веранде или, положив на лицо раскрытый журнал, дремала на солнце в сделанном им шезлонге, а он всегда что-то делал. Закончив одну работу, внимательно обходил свои владения и неизменно находил новое занятие.

Ближе к вечеру Нина звала его гулять. Он нехотя соглашался, откладывая инструмент и шел за женой с видом человека, который вместо важной работы вынужден отвлекаться на мелкое незначительное дело. Места вокруг живописные: лес рядом, через огород тропа тянется по клеверному лугу к самому озеру, небольшому, но чистому и глубокому. На берегу озера – деревянный причал, поставленный опять же Иваном Петровичем, о причал трется прогудроненным боком плоскодонка. Отдыхай и радуйся! Не изводи себя одной работой, не переделай ее всю!

– Смотри, Ваня, запоминай, это же счастье! – говорила жена, указывая плавным движением руки на озеро, лес, закатное солнце. Указывала так, точно дарила. – Этот вечер уйдет и никогда больше не повторится! Надо впитывать каждый момент! Как ты понять не можешь?!

Иван Петрович затапывал окурки папиросы и нетерпеливо тянул жену обратно домой.

– Да что тут понимать? Завтра все то же самое будет! Разве что комарья поубавится. Видишь, стрекоз сколько вылупилось!

Иногда к ним приезжал Алексей, уже студент, взрослый парень, курящий при родителях, но до сих пор краснеющий при этом.

Иван Петрович немедленно приставлял его к какому-нибудь делу, но Алексей и дело поладить не могли. Топор соскальзывал из его рук, и становилось страшно, что сейчас он секает себе по ноге, лопата теряет умение копать землю, вода из ведер плескалась, как живая, превращая тропинки между грядками в грязные лужи, а баня отказывалась растапливаться. Алексей виновато улыбался, и мать приходила к нему на помощь, уводила от возмущения отца, посылая из-за спины сына мужу выразительную мимику, мол, отстань уже от ребенка, пусть он отдыхает!

Много еще плюсов было в этом доме: и увитая плющом веранда с самодельными плетеными креслами-качалками, и огромный стол, за которым в былые времена могли разом собраться двенадцать человек, и фруктовые деревья, и виноградные лозы, плодоносящие в суровом, чуждом им климате на зависть и удивление деревенских. Однако обстоятельства... Обстоятельства выворачивали руки!

– Папа, Димке поступать нынче... мы не потянем институт, деньги нужны, – краснея и смущаясь, сказал Алексей, не показывая обиды на кукиш.

– Потянете, – отрубил Иван Петрович. – Люди после войны институты вытягивали, и вы сейчас вытянете. А нет, – старик обернулся к самому Димке, который тут же сидел на диване, долговязый, худой, с россыпью красных угрей по щекам, слушал внимательно и с неприязнью глядел на деда, – тогда пойдешь работать! Труд-то теперь не рабский, не на власть проклятую, а на себя свободного! Верно?...

К разговору о продаже дачи возвращались еще, но с тем же результатом. Переубедить старика было невозможно. С весны и до поздней осени он, считай, безвылазно жил там, пока деревенские улицы не переметало и пробиться на «Жигулях» становилось невозможным. Ездил и зимой, уже на электричке, проверял, все ли в целости. Топил баню, не спеша запаривал веник, досиживал первый заход, разогреваясь, а на втором поддавал так, что каменка начинала шипеть паровозом. Кряхтя от удовольствия, размеренными движениями начинал закидывать веник себе за спину, вытягивал на полке жилистые худые ноги, старательно прохаживался по артритным выпуклым коленям. Мысли после бани начинали течь плавно и умиротворенно. Думалось, что приходит момент окончательно перебраться сюда, поставить в доме хорошую печь и доживать век наедине с самим собой.

Все прошлое лето возил Иван Петрович с собой на дачу младшего внука Егорку, который подрос и для этих поездок, и для разговоров. И дед, и внук получили тогда от общения огромное удовольствие и сильно сдружились. Оба с нетерпением ждали теперь нового дачного лета, но из-за недуга Ивана Петровича сезон все никак не мог нормально начаться.

Аргументы продажи, стоило Ивану Петровичу занемочь, быстро замаскировались в заботу. Пришла пора – он, несомненно, нуждается в лечении и покое, так кто же, как не родные, должны настоять на этом? Какие дачи? Какие поездки? Нельзя же в таком возрасте так наплевательски относиться к себе! Другие старики чуть прижмет – из поликлиник не вылезают, сразу на прием бегут, обследуются, а его в больницу силком не затащить, да еще и курит по пачке «Беломора» в день!

Иван Петрович отбивался от этих разговоров почти с яростью.

– У меня здоровья еще целая дивизия в резерве! – буравил он домочадцев злыми глазами. – Зад оторвали бы лучше, с огородом помогли, если забота берет такая! Что жрать зимой будете, когда земли не станет?

– Дожимать надо отца, – с приходом очередного вечера ворковала неотступная Люда на кухне. – Видно, что не потянет он уже свою фазенду! А нам еще далеко до пенсии, чтобы копать на грядках!

– Но я уже не знаю, что говорить ему, как убедить... – сокрушался Алексей.

– Маме своей спасибо тогда скажи! – начинала психовать Люда. – Почему не переписала на тебя свою часть? И не спрашивал бы сейчас, не унижался! А то любила так сильно, а догадаться не могла, что о сыне кроме нее некому позаботиться!

– Не трогай, пожалуйста, только маму! – морщился Алексей. – Сколько уже времени прошло, как она умерла, а ты все ее поминаешь в склоках этих! С другой стороны, старый уезжает на дачу, и здесь покойно становится. Пусть пока ездит. Психовать меньше будешь от его присутствия. Егор опять же пристроен на все лето. На свежем воздухе!

– Ты опять об этом? – грудной размеренный голос Люды переходил в жаркий возмущенный шепот. – Да не стоит овчинка выделки! Продавать надо, и все в валюту переводить, как сейчас люди умные делают! Ты видишь, какая идет инфляция? А в долларах надежность будет и верный заработок. Потом две таких дачи купим!

– Ты же Димке на институт собиралась отложить!

– На все должно хватить! – убежденно отрезала Люда. – И на институт ему, и на новый холодильник. Сейчас еще диваны появились современные такие, импортные. Не надоело тебе ребра на старых пружинах давить? Мне надоело!

– А он весь год будет рядом, – Алексей выразительно повел глазами на стену, за которой находилась комната Ивана Петровича.

– Перетерплю, не бойся! – ответила Люда. – Может и терпеть-то уже недолго осталось!

## 2

Иван Петрович действительно чувствовал сильную усталость, о которой молчал, и которую боялся показать. Усталость и раздражение на все и всех. Навалилась бессонница: неотступная, неумолимая, когда открываешь глаза среди ночи, как от внутреннего толчка, сердца ли, мысли ли, и начинаешь всматриваться в темноту комнаты, как в дозоре на нейтральную полосу. Проедет дворами автомобиль, выхватит фарами, как осветительной ракетой, крадущуюся в темноте мебель, обличит спрятавшийся в засаде у письменного стола стул, возьмет врасплох этажерку с книгами и фотоальбомами, и снова надвинутся темнота и гул мыслей, и сна нет в помине.

Бессонница полбеды. Бессонница и у молодых бывает, а в семьдесят лет она, как надбавка к пенсии, – получите, распишитесь и топайте в аптеку за пилюлями!

Мучили сны. Не было от них отдохновения, освежающего тело и разум. Короткие беспокойные сны, все больше о войне, войне... наполненные кошмаром, страхом, поиском спасения. А то, оживленные его забытием, являлись вдруг убитые товарищи, которых помнил. Являлись, чтобы снова погибнуть. И во сне эта утрата неожиданно приобретала невосполнимую свежую горечь, он начинал их оплакивать, просыпаясь, хватал себя за лицо, стыдясь за слезы, но слез не было, и Иван Петрович тер сухие щеки, остывая от эмоций.

Днем воспоминания отступали. Но приходила ночь, и память снова стучалась и оголялась, делалась яркой, зримой. Иван Петрович просыпался в один и то же час – в половине третьего и бодрствовал до самого утра. Час этот он уже называл чертовым. Не могли одолеть его ни успокоительные капли, ни снотворные порошки. Он просыпался, и тут же мысли поднимались роєм, начинали цеплять одна другую, как вязальный крючок, и всегда самой первой приходила тяжелая и мрачная, что все это неспроста – скоро смерть! Незаметно подступает страшный рубеж. Жизнь просвистела и уже летит под гору, а оглянешься – ничего действительно яркого в ней, кроме войны, и не вспомнить! Точно не жил он эти сорок восемь послевоенных лет, а уходил постепенно под толщу воды и оттуда, из глубины, все смотрел на фронтовые полтора года как на единственное полноценное время своего существования.

Мерно отстукивали на комодке часы. Довоенные, добротные часы, украшенные бронзовыми фигурами. Единственная вещь, из детства дожившая с ним, и, несомненно, переживущая его. Таких часов, да еще на ходу, поискать надо, и не найдешь! Подарок отцу на юбилей от коллег из Коминтерна, о чем и гравировка имеется «*Товарищу Лебедю в день сорокалетия. 18 июня 1934 года*».

Удивительно устроена память! Сколько лет минуло, а до сих пор он помнит, как солнце горело в тот день на паркете их московской квартиры! От нагретых дубовых шашечек шел легкий приятный запах лака, недоступный для суетливых взрослых, но осязаемый для играющих на полу детей. Когда Иван был чуть младше, он любил, пока не видит мать, разогнаться, упасть на колени и скользить по этому паркету до самого окна к батарее отопления. От мысли, что если не выставить вперед руки, можно расшибить себе лоб, перехватывало в животе, но он намеренно усиливал это чувство, рисковал, выставлял руки в самый последний миг!

Младшая сестра Соня пыталась следовать его примеру, но не получалось у нее. Разгон был не тот. Останавливалась посреди комнаты и сидела, расстроенная, с завистью глядя, как брат лихо проносится мимо. Зато Соня умела находить на деревянном рисунке паркетных шашечек, особенно на срезе сучка, разные рожицы и фигурки. Она показывала свои открытия брату, удивлялась, что тот не сразу видит столь очевидные контуры змеи, дельфина или девочки с косичкой, и на какое-то время даже увлекла его в эту игру – поиск новых картинок. Иван исследовал на животе всю детскую и нашел череп, про который Соня сказала, что он совсем на череп не похож, а напоминает скорее круглую морду кота.

Но теперь Иван уже не ребячился. Не катался и шашечки не рассматривал. Несolidно это. Легкий пушок над его губой чуть потемнел, он с интересом поглядывал в ванной на отцовскую бритву, подступал с намеками, что и ему пора уже взбивать по утрам помазком белую густую пену, и получал в ответ отцовские смех и советы не торопить лихо.

В зале между тем накрывали большой стол. Слышался оживленный гул голосов, множество одновременных разговоров, различалась и иностранная речь, в основном немецкая. Часто выскакивало приветственное: «Рот Фронт!». Иван немецкий не знал, в школе им преподавали английский (его он, впрочем, тоже не особо знал), но на слух уже угадывал этот язык. Отец владел немецким прекрасно, часто говорил на нем, пытался учить и Ивана с Соней. Сестра довольно бодро щебетала ему в ответ, Иван же дальше «гутен морген, гутен таг» не двинулся.

«Ты как революцию собираешься делать мировую, не зная языков?» – спросил однажды с укором отец. Иван промолчал, не желая огорчать его ответом, что даже не думает ехать куда-то делать революцию. Его ждали двор и друзья, а там нужны были другие знания!

Тем временем гости, судя по шуму в прихожей, прибывали. Периодически начинал играть патефон. Ивану мучительно хотелось нарушить запрет родителей, просочиться к месту общего веселья; он сделал попытку, и был остановлен в коридоре отцом. Отец уже выпил, находился в добродушном настроении, но в зал к гостям все же не пустил. Зато сообщил, что на днях приезжает из Германии его друг дядя Алекс с сыном Карлом.

– Вот такой пацан! – показал он Ивану большой палец. – Твой ровесник! Вы непременно подружитесь! А сейчас, если хочешь, можешь с Сонькой посмотреть подарки у меня в кабинете.

Это уже было кое-что. Тогда-то Иван впервые и увидел эти часы. Большие, тяжелые! Он попробовал их поднять и с трудом оторвал от стола.

– Поставь, разобьешь! – в ужасе прошептала Соня, цепляя его за локоть.

Он и сам испугался, грохнул часы обратно на стол и озлился на собственный испуг. Чтобы не показать вида, начал насвистывать, разглядывать литые фигуры. Мускулистый рабочий-молотобоец весело смотрел на крепкую фигуристую колхозницу, закинувшую на плечо сноп пшеницы, которая в свою очередь озорно улыбалась ему в ответ. Фигуры возвышались по обеим сторонам от циферблата, горели золотым жаром и казались невообразимо прекрасными.

– Папа говорил, они бить умеют, – сказала Соня с восхищением. – А как, интересно?

– А вот так! – Иван вскинул руку и поставил сестре звонкий щелбан. Да больной! Соня отпрянула, быстро моргая, глядя на брата первое мгновение с удивлением, дескать, как же можно драться, если так все хорошо было? И тут же залилась горячими слезами.

Зачем он тогда это сделал? Ведь он любил Соню! Но какой-то бес уже сидел в нем. Именно этот бес, жадный на события, деятельный и глазастый, привел его в компанию уличной шпаны и принес много неприятностей. А еще позднее вдруг обернулся ангелом-хранителем, поддерживал волю к жизни, не давал скиснуть и сдаться и уводил, уводил всякий раз от смерти, мешая пересечься их путям ни в безнадежных боях первых военных месяцев, ни в отступлении по волжским степям, ни в Сталинградских уличных зарубах.

Соня погибла, едва пережив свое шестнадцатилетие, в Москве в ноябре сорок первого, в районе Химок. Была она в комсомольской бригаде ПВО, из тех, что по крышам дежурили, тушили «зажигалки». Часто пропадала на ночных дежурствах.

Но убила ее не бомба, а серая мразь с выкидным ножом. Убила за блеск крошечных золотых сережек, когда Соня рано утром возвращалась домой по пустым тревожным улицам.

В какой-то момент этой мрази сильно прибыло в городе. Она копилась по темным углам, выслеживала добычу и атаковала, безжалостно и внезапно. Чуть позднее патрули в белых тулупах начали отстреливать этих чертей на месте преступления без суда и следствия и взяли ситуацию под контроль. Но Соня была уже мертва.

Иван узнал об этом в госпитале в Рязани, откуда послал домой первое за несколько месяцев письмо. Прошитая осколком икра заживала плохо, рана мокла, постоянно ныла, и каждую перевязку он со страхом ждал беспощадное слово «гангрена». Вестей из дома он давно не получал. Полевая почта в ту пору попросту не могла отследить сотни тысяч судеб, и письма мертвецов носило по фронтовым дорогам вместе с письмами живых. Часто эти клочки бумаг просто терялись, не доходили до адресата.

Но из тылового госпиталя писать было сподручней, чем из окопов. Медсестра Оля одолжила ему карандаш и тетрадный лист, и Иван, подпирая в коридоре грудью холодный подоконник, написал домой ласковые ободряющие слова, какие только смог подобрать.

На удивление ответ пришел быстро, но не от родителей! Отписалась соседка тетя Варя. Не поленилась, сообщила печальную весть о Соне, упомянув между прочим, чтобы от матери писем скоро не ждал – с горя совсем помешалась, слегла и даже говорить связно не может. В больницу ее не берут – все они под госпитали забраны, все переполнены, но она ухаживает за ней, как может. Также тетя Варя отписала, что отца еще до гибели Сони командировали в Ленинград, и никаких вестей от него пока нет, город фашисты обложили блокадой. И от ее Сергуни-морячка, погодки Ваниного, давно нет ни строчки. Последний раз в сентябре из Одессы аукался, и молчок с тех пор.

Весь вечер Иван крепился, маялся, перечитывал письмо снова и снова, скакал на костылях курить и только после отбоя, когда притушили свет, уже не мог сдерживаться, закусил угол подушки и не заплакал – слезы почему-то не шли, а зарычал. Образ сестры крутился в его голове, пока он не уснул, а на следующий день врач сообщил, что рана смотрится гораздо лучше и дела теперь пойдут на поправку.

Перед самой выпиской Иван получил от тети Вари еще одно письмо. Соседка писала, что отец в Ленинграде в составе какой-то комиссии ездил на передовую и погиб, попав под неожиданный и сильный минометный обстрел. Известие это принес в дом военный, «видимо, начальник – полушубок добротный». Он спрашивал мать, а ее незадолго до этого увезли все-таки в клинику, и что с ней сейчас, она не знает. Квартира пока пустует, но ключи у нее есть, и, если что надо, пусть *Ванюшенька* (именно так она писала ему, тому, которого раньше иначе как паразитом и охламоном не называла) накажет. Квартира ведомственная, и мало ли кого могут заселить, хотя Москва сейчас, «как вымерла, не отошла еще».

«Заберите, пожалуйста, папины часы с фигурами и фотографии, – написал ей Иван. – Больше ничего не надо! Когда мама поправится, верните. Если с ней и со мною что случится, то пусть у вас совсем останутся».

Мир его семьи разрушился стремительно и безвозвратно. Он даже не мог вспомнить момент, когда они были все вместе в последний раз. В армию по призыву он уходил без особых проводов, буднично, как на работу, потому что отец был в очередной командировке, а мать болела. Иван поцеловал ее, сказал Соне «пока» и ушел, радуясь переменам, не зная, что никогда больше никого из них не увидит. И только часы, единственный артефакт того мира, остались целыми.

Иван Петрович любил их солидный спокойный шаг, совсем не похожий на птичье сердцебиение современных ходиков. Считал эту тяжелую поступь времени, когда пытался бороться с бессонницей, дивился, сколько же отбили часы этих полновесных ударов с тех пор, когда он с Соней разглядывал их? А последнее время взяла и уже не отпускала его мысль после того, как прочел в газете, что если каждому погибшему на той войне отмерить жизни всего лишь секунду, на один удар сердца, то целый год можно будет вести этот счет. Пить, есть, спать, гулять, а счет будет идти, не прекращаясь. И Соня, и отец, и мать тоже мелькнут в нем и уйдут, не задерживаясь. Разве что в глаза взглянуть времени хватит...

От подобных мыслей, почти всегда неминуемых, Иван Петрович поднимался с кровати и начинал ходить по комнате. Ставил на подоконник тяжелую мраморную пепельницу, курил

в окно, пытался занять себя ночными программами по телевизору или радиоприемнику... И не права была Люда – никого он специально не хотел тревожить.

### 3

Тем воскресным утром Иван Петрович удивил всех выходом к завтраку. Вместе со всеми на кухне он появлялся редко. Обедать предпочитал в одиночестве, ужин вовсе игнорировал; с вечера запирался у себя в комнате, и никто не знал, чем он там занимается, потому что никто, кроме младшего внука Егорки, не осмеливался в это время войти к нему без приглашения.

Но еще сильнее Иван Петрович удивил домочадцев своим видом. Выглядел он как человек, который не может найти решение простой задачи, – растерянным и даже смущенным, что совершенно не водилось за ним! Он зашел, хмуро кивнул на приветствия, зачем-то заглянул, грохнув крышкой, в кастрюлю с гречкой и тут же наотрез отказался от этой каши, торопливо предложенной Людой.

– Чая мне лучше сделай, – велел он снохе и сел к столу.

Пуча от удивления глаза, Люда налила чашку чая, спросила, нужен ли бутерброд.

Отказался и от бутерброда.

Ни от Алексея, ни от Люды не укрылось, что Иван Петрович хочет что-то сказать, но никак не может собраться, будто стесняется этого желания. Люда поняла это по-своему, послала мужу выразительный взгляд радости и принялась усиленно ухаживать за свекром, предлагать печенье, развязывать и расправлять перед ним целлофановый пакет карамели.

– Да угомонись ты! – раздражился Иван Петрович, и Люда послушно, как по команде, села.

Повисла пауза. Все внимательно смотрели на деда.

– Сон мне привиделся сегодня, – решился, наконец, на рассказ Иван Петрович. Оглядел еще раз всех и продолжил непривычно доверительным тоном. – Встал, думал, забуду, а не забывается. Вот к чему такое может сниться? Яркий сон такой... Паренька видел одного, с войны... Так-то даже и думать забыл о нем, а тут увидел, и мучаюсь. Полночи промучился и все утро, не могу вспомнить фамилию! И имя тоже... не то Саша, не то Сережа.

– Зачем тебе? – негромко спросил Алексей. Переглянулся с женой, увидел у той в глазах растущую темную тучу, но пока еще без грома.

– Да пацан тот был Димки нашего ровесник. Убило его и стерло начисто из памяти, а сегодня я вспомнил! Даже лицо вспомнил! До мелочей! Был бы художник – нарисовал бы точь-в-точь! Разве возможно такое? Через столько лет! Можете себе представить?

– Очень даже могу, – хлопнула ладонью о стол Люда и поднялась, отошла к раковине, готовая не мыть, а скорее колотить посуду.

– Папа, ну что сейчас об этом вспоминать? Да сколько таких пацанов было и погибло! Наверняка, родные какие-нибудь все равно остались, не забывают, – вздохнул Алексей и покоился на жену.

– Да в том-то и дело, не было у него никакой родни! Детдомовский он. А годков столько же имел, как Димка. Вы разве не слышите? – заволновался Иван Петрович. – Поймите, вряд ли где, в каком архиве он помечен, сохранился хоть строкой единой! Ополчением они подходили, кто их там особо учитывал?! Фотографии тоже, верно, никакой не сохранилось. И получается, только один я сейчас во всем мире знаю и помню о том, что жил на земле такой человек! А фамилию забыл! Фамилия какая-то необычная! А ведь помнил одно время! Она своей заковыристостью и запомнилась!

– Знаете, Иван Петрович! – не выдержала и взвилась от раковины Люда. – Земля ему, конечно, пухом, этому Вашему Сереже, но он мертв давно, а Ваш внук жив! Вы бы о нем лучше подумали! Ему бы сейчас на курсы пойти – есть при университете, и не очень дорогие, а он вместо этого в киоск хочет подрабатывать устроиться по ночам! В любой момент его там за бутылку водки алкаш какой-нибудь может подпалить! Или бандиты ограбят!

Люда выбежала с кухни, продолжая еще кричать, крик этот перекинулся на Егорку, устроившего опять какую-то шалость, и закончился скоротечными глухими рыданиями в зале.

– Ты ее врачу покажи, – посоветовал Иван Петрович сыну. Алексей перестал катать по клеенке стола хлебные крошки, снял очки и долго массировал глаза.

– Как же я устал от всего этого, – полным трагизма голосом сказал он. – Везде крайний, со всех сторон...

– Терпи сынок, такая уж тебе доля тяжелая выпала, – усмехнулся Иван Петрович, похлопал Алексея по плечу и удалился к себе в комнату.

\*\*\*

Саша или Сережа? Хоть о стену с разбега бейся, не помнит точно! Что уж про фамилию гадать? А фамилия была... Саша-Сережа громко и торжественно объявил ее, как объявляют праздничный номер в клубе, и лыбился при этом на все стороны, ожидая, быть может, более радушный прием.

В начале октября сорок первого их битым, на десять раз переформированным, перетасованным частям сунули под Спас-Деменском в помощь городское ополчение. Тогда-то и появился этот Саша-Сережа, пристал к их расчету, как домашний гусь к диким сородичам. Никто его не приветил, но и не погнал – не до того было. Все с тошным чувством страха готовились и ждали боя, который мог начаться в любую минуту, были отравлены этим ожиданием, ежеминутно смотрели на небо, более всего опасаясь авианалета, и даже не обратили поначалу внимания на свежеиспеченного помощника.

Незадолго до этого к ним на позиции подтянулись остатки последних отводимых частей. Бойцы, особенно легкораненые, наспех перебинтованные, просили воды, жадно присасывались к фляжкам, напившись, тут же просили закурить; говорили, что между ними и немцами теперь никого больше нет.

Одному словоохотливому пехотинцу с белорусским говором Иван протянул только что скрученную и прикуренную самокрутку. Пехотинец, молодой паренек, в каске явно большего размера, чем нужно, благодарно принял ее, присел на корточки и с жадностью начал глотать дым, затягиваться через каждые несколько слов. Самокрутку он держал по-особенному, щепотью, и казалось, что при каждой затяжке он целует кончики своих пальцев.

Пехотинец сообщил, что немцев идет тьма, танков – не счесть! Но их лоб хорошо причесали наши танки – пара десятков неожиданно появившихся машин с двумя КВ во главе. Они взялись, как ниоткуда, развернулись в боевой порядок и на всех парах помчались на сближение с немцами. Грохотало, будь здоров! Видимо, поэтому, сделал вывод пехотинец, гады притормозили – перевести дух, перегруппироваться для броска на город, иначе давно бы уже здесь были!

– Не наши танки, вы бы и окопаться толком не успели, и нам бы усяму полку там хана пришла нынче, ног не дали бы понесци! Мы же все расстреляли начисто! Патрончика цэлага няма! А немцы следом прут, наседают! Як волки режут, кто отстал! Первый полк с дивизии, кажут, в «котел» так и угодил!

– А где танки-то наши? – перебил Иван словоохотливого пехотинца.

Вопрос Ивана точно удивил того. Некоторое время пехотинец соображал, потом ответил неуверенно и виновато:

– Не ведаю. Все, кажись, там застались...

Тут-то и объявился этот Саша-Сережа, представился, точно только его и ждали, подсуетился в помощь, закипел от усердия. Одет он был в серую толстовку, тесный пиджачок, галифе, из карманов которых, придавая ему забуддыжный вид, торчало по бутылке с зажигательной смесью, и шегольские сапоги в гармошку.

«Явился на войну, как на танцы», – неприязненно отметил про себя тогда Иван.

Все это Саша-Сережа немедленно и безжалостно извозил в земле и глине. Пиджачок он вскоре скинул, потому что взопрел. С мокрой полосы на спине над толстовкой начал подниматься легкий пар, но вида усталости парень не показывал. Пользуясь, что никто не затыкает ему рот, болтал без умолку.

Даже ныне, спустя столько лет, вспомнить его нехитрую биографию труда не составило. А может, и Иван Петрович не исключал этого, что-то подмешалось к ней от историй других таких же парней. Не так уж это теперь важно.

Прежде всего Саша-Сережа сообщил, что он детдомовец, что кончил «семилетку» и сейчас в техникуме. Сказал, что годков ему шестнадцать, но вот-вот уже скоро, через месяц, семнадцать будет.

В военкомате, куда он сунулся добровольцем, ему отказали, даже по шее чуть не дали, чтобы не лез, время не отнимал. Тогда он документы подправил и в ополчение подался, а там толком никто и проверять не стал – сунули бутылки с горючкой, объяснили, как и куда их бросать по танку, и в строй! Просил он очень пулемет, потому что видел, как с полуторки выгружали для ополченцев несколько пулеметов, или хотя бы винтовку – не дали! И даже слушать не захотели, что он нормативы в технаре на отлично все сдал, а по стрельбе вообще лучше всех – из боевой винтовки пятьдесят семь очков выбил! Ему значок полагался «Ворошиловского стрелка». Просто в наличии их не было, не хватило. Зато часами премировали.

Часы немедленно были всем представлены на обозрение как доказательство его слов.

– Трындишь ты, похоже, «стрелок», – не стерпел Иван. – «Котлы», значит, дали, а значка не хватило!

– Да я клянусь! Зуб даю! – взвился Саша-Сережа.

– Ну-ну, тише! Побожись ещё! – осадил его Иван. – Ты тут сейчас не только зуба можешь лишиться!

Когда основная и запасные позиции были подготовлены и разрешили перекур, Саша-Сережа вдруг куда-то отпал и потерялся. Впрочем, вскоре обнаружился. Выяснилось, что он спустился к пехоте в окопы и пошел по цепи предлагать свои наградные часы в обмен на винтовку. Обмен закончился тем, что бедняга нарвался на бойца с особенно накаленными нервами, который не поленился развернуть детдомовца и прикладом этой самой винтовки сунуть ему между лопаток. Вернулся «Ворошиловский стрелок» уже неразговорчивым, притихшим, с обидой в глазах, и снова попал под раздачу, на этот раз уже от Ивана.

Самому Ивану на тот момент едва минуло двадцать, но за его плечами уже были три месяца войны, бои, отступления, гибельное варево смоленского «котла», из которого вынесло его, как щепку в водовороте крови, с легкой контузией в голове и со страхом открытого пространства и неба. Никого, с кем он был еще месяц назад, рядом уже не оставалось. Тех же ребят, своих сослуживцев, в колонне с которыми бодро и с энтузиазмом выступал в июне на сближение с врагом, он уже и вспоминал с трудом, точно целая жизнь успела минуть. Так что этот Саша-Сережа воспринимался им как существо случайное, раздражающее, низшего порядка и, скорее всего, бесполезное.

Не в силах совладать с накотившей неприязнью, Иван шагнул к нему, взял за шиворот, так, чтобы и кожу прихватить, чтобы больнее вышло, процедил сквозь зубы: «Еще раз с позиции без разрешения дернешься, я тебя в макулатуру уработаю!».

Саша-Сережа сконфузился окончательно, сел на ящик со снарядами, обхватил руками колени и стал смотреть туда, где по горизонту черной полосой шел дым, вероятно, от тех самых «наших танков».

Иван отвернулся, чтобы неожиданно подступившая жалость к детдомовцу не окрепла, тоже сел, закрыл глаза, попытался подумать о чем-нибудь хорошем. Иногда это помогало расслабиться. Особенно когда начинал мечтать: вот бы все закончилось, и он поехал бы домой! С медалью, а лучше с орденом! Специально не сообщит, чтобы сюрпризом вышло. Явится

герою. Сонька начнет прыгать от радости, мать – тянуться и клонить к себе его голову, чтобы расцеловать, отец – горделиво смотреть, как на равного себе. А Маринка со второго подъезда при встрече больше не будет строить из себя фифу неприступную!

Давно, однако, яркость этих мечтаний успела потускнеть. Ивану приходилось прилагать все больше усилий, чтобы хоть на время увести мозг в область безопасных мечтаний, все труднее становилось вызывать в памяти лица родных, представлять время, где смерть не дышала бы зловонием в лицо каждый день!

– Ты, браток, главное, не трусь, – тихий голос командира орудия Вити Якушева прервал мысли Ивана. Приоткрыв глаз, он увидел, что Витя подсел к Саше-Сереже на ящик.

– Бояться не стыдно, все боятся. Главное – трусить нельзя! Струсил – запаниковал, запаниковал – побежал, а побежишь, всех товарищей подведешь, а еще и малодушных за собой потянешь! Отходить надо только по приказу, запомни это, как Отче наш! Ты же теперь солдат! Когда бой зачнется, будешь Артему снаряды подавать. Он заряжающий. Ваня у нас наводчик, я ему даю команды и цель. Вот здесь у нас бронебойные, по танкам значит, из названия уже понятно. Здесь фугасные, осколочные, по пехоте, стало быть. Слушай меня внимательно, подавай правильно. И ужом вертись! Как будто у тебя кирпичики по конвейеру идут, и тебе ни одного нельзя упустить! Только гильза отскочила, ты Артему уже новый снаряд подать должен, а стреляющую гильзу в сторону, иначе ступишь на нее и кувырнешься. Рот держи открытым, перепонки береги. Если Артема ранят, заряжаешь сам. Носишь и заряжаешь. Как заряжать сейчас покажу. И помни – тебя тоже боятся! В танке тоже страшно! Там тоже человек мечется, снаряды подает в орудие, потому как знает, что гореть ему заживо придется, если мы ловчее будем! Так ты его, значит, пересуетиться должен! И еще: пока идет бой, пока угроза, тебя ничто не должно отвлекать. Ранят товарища легко, он потерпит или сам о себе позаботится, ранят тяжело – ты ему не помощник. Ори санитаря, но работы своей не бросай. Понял?

– Понял, – кивнул приободренный Саша-Сережа.

– Ежели в штаны наложишь, тоже не отвлекайся, понял? – проникновенно, в тон Якушева, сказал Иван.

Витя осуждающе посмотрел на него, а Саша-Сережа вскинулся с обидой в голосе:

– Сам, гляди, не обделайся!

Иван, довольный ответной реакцией, подмигнул ополченцу.

Зачем же явился ему нынче во сне этот детдомовец? Почему он вспомнил именно о нем, совсем случайном человеке, прожившем подле него сколько-то там минут боя и все эти минуты елозившем на корточках и коленях, подавая в орудие снаряды?

Артема тогда высекло осколком сразу же, до обидного быстро. Несколько десятков немецких танков вышли на позиции и начали замануху: в атаку пока не шли, только передние машины маневрировали, дразнили, вызывали огонь.

– Спокойно, ребята! Ждем, не светимся. Далеко, – не отрываясь от бинокля, сказал Витя.

– Знаю, – отмахнулся Иван, чувствуя, как закипает нетерпеливой горячкой.

Но одно из орудий открыло стрельбу, и тут же спровоцировало другое. Разрывы с явным недолетом легли перед танками. В ответ почти тут же ударили тяжелые немецкие минометы. Танки, получив прикрытие, выждали и, набирая скорость, двинулись в атаку, начали тоже пристреливаться.

Иван обернулся на задержку, увидел мертвого заряжающего и бледное пятно – лицо Саши-Сережи, услышал, как дико закричал Витя «подавай, подавай!», и ощутил, как со дна души на мгновение кольхнулся ужас; подумалось, что все, сейчас их накроют! Но пошло. Метнулся Саша-Сережа со снарядом, зарядил. И второй, и третий! Подвывал что-то неразборчивое, песню ли пел, со страху ли скулил – неизвестно. Но заряжал быстро, словно всю жизнь только этим и занимался!

Немцы наседали сильно и плотно. Танки напоззали, останавливались для прицельного выстрела, снова срывались с места, работали по батарее, стараясь точно вычислить место орудий. Батарея огрызнулась бегло и точно. Несколько дымных столбов уже поднималось на поле.

– С фланга бы не зашли! – прокричал Ивану Витя. – Фланги у нас не сдюжат навала! По ближнему, Ваня! Прицел восемьдесят пять, уровень меньше ноль-ноль-три, чуть правее пробуй!

Иван слился с сорокапяткой, ставшей в его руках разумным существом, провожающим каждый свой выстрел бодрым подскоком. Четыре немецких танка были в секторе его обзора. Казалось, все четыре машины видят их, охотятся именно на них, но Иван знал, что это не так. Чего-чего, а маскировать орудие они научились! Зато все четыре танка были перед ним, чуть в низине, как на скатерти.

И вот дернулась, занялась черным дымом и встала метрах в ста от их позиции короткоствольная коробка Pz-3, из которой выбрался и упал на землю маленький живой факел. Вторую машину они сожгли, когда она оказалась «разутой» и развернулась идеально боком под выстрел. Иван не пропускал такие мишени. И эта вторая машина загорелась всеми топливными баками, как стог сена, жарким оранжевым пламенем.

Потом была дуэль с оставшимися двумя танками, к которым подползали на помощь еще несколько машин. Трижды Иван клал снаряды за ними, чуть по броне не гладил, а потом все оборвало взрывом. Снаряд лег аккуратно перед пушкой. Сорокапятку подкинуло, поставило на лафеты почти дыбом, натянутую поверху маскировочную сеть разорвало в клочья. Витю убило на месте. Самого Ивана швырнуло в сторону, как ветром старую газету, сорвало с головы каску.

Сознание затопилось, но не оборвалось. Просто бой перестал существовать, остался гулом в стороне. Гонимый одним инстинктом, плохо соображая, Иван пополз по завалившей ходы позиции рыхлой глине, мимо рассыпанных из разбитого ящика снарядов, мимо присыпанного этой же рыжей глиной Саши-Сережи, голова которого исходила темными кровяными сгустками мозга. Старался ползти быстрее, чувствуя, как сильно льется с рассеченного лба по лицу кровь. Так сильно, точно кто-то сверху ему льет на голову из чайника теплую воду! Он жмурился, кривил лицо и продолжал ползти, пока не скатился в окопчик, где раненому капитану испуганный санитар бестолково пытался забинтовать обездвиженную, перемолотую в кровавые щепки руку.

Увидев Ивана, капитан вдруг вскинулся, закричал страшным сорванным голосом: «Куда ползешь?! Назад, к орудию! Артиллеристы, мать вашу... На лафетах умирать надо!!».

Иван ничего капитану не ответил. Как механическая машинка, которую развернули, он выбрался из окопчика и пополз обратно к гремящей батарее, к уцелевшим пушкам.

Во сне Иван Петрович увидел Сашу-Сережу тоже заряжающим. Вот он подносит снаряд, падает с ним перед казенником на колено, а боя вроде как и нет! Трактора по полю елозят вместо танков, землю пашут. И захотелось Ивану Петровичу остановить Сашу-Сережу, объяснить ему все, поговорить, да немота охватила, и он только смотрел, как детдомовец суетится в совершенном одиночестве. А потом стало мниться, что это его внук Егорка, только уже выросший, и сейчас должно произойти ужасное, потому что не просто так Иван Петрович здесь, а чтобы смотреть Егоркину гибель!

От попытки закричать внуку начало саднить горло, и Иван Петрович проснулся, повернулся на бок, сотрясаясь от приступа сухого, раздражающего бронхи кашля.

## 4

Если вся жизнь – это череда эмоций, то война за полтора года вытянула их из Ивана Петровича все разом и на долгое время точно иссушила его. Поэтому войну он помнил прекрасно, а то, что происходило сразу после, застлал туман, где многое перепуталось и забылось.

Так, например, он точно не помнил, по какой именно причине бросил родительскую квартиру в Москве и перебрался в Сибирь. Впрочем, от всей квартиры оставалась в его распоряжении лишь одна комната – бывшая детская, все с тем же паркетом, только более затертым и потемневшим.

Первым делом, когда Иван зашел в комнату и закрыл дверь, он упал на колени, безошибочно нашел Сониного дельфина, и рыбку, и девочку с косичками. Лег и долго лежал на полу, не в силах ни заплакать, ни успокоится. Потом посмотрел на место, где раньше стояла *его* кровать. Потертый след на обоях еще хранил ее границы. Оскверненная часть комнаты! Тяжелая безысходная злоба тотчас переломила слабость, и он поднялся на ноги.

Соседка тетя Варя, увидев Ивана, напротив, сразу залилась слезами, усадила обедать, но вместо тарелки сначала положила перед ним серый листок «извещения», ткнула в него пальцем, села напротив и на этот раз уже зарыдала в голос, пряча лицо в цветастый передник. Иван покосился на бумагу, выхватил взглядом стандартное: «Ваш сын красноармеец Мякишев Сергей Федорович... находясь на фронте... пропал без вести...».

Сутулая узкоплечая фигура стриженного под ноль Мякиша прошла перед мысленным взором Ивана и попросила закурить. При каждой встрече Мякиш после приветствия сразу просил папироску. Такая у него была манера. Ивану он не кореш был, хоть и сосед. Противный из-за своего вечного попрошайничества, а все же Ивана пробила жалость! Скоро год извещения. Шансов почти нет. Лежит, скорее всего, Серый Мякиш где-нибудь в братской могиле.

– Только бы не плен, да Ваня? – спросила вдруг тетя Варя, прекратив рыдания и быстрыми движениями рук отирая все тем же передником щеки. – Бабы говорят, так пенсию должны дать, а за плен и тюрьма может быть! И ему, и мне.

– За что тюрьма-то? Глупости говорят. Вы-то при чем? А если и плен? Выживет – вернется, разве плохо? – ответил Иван, и тетя Варя испуганно затрясла головой.

– Нет, конечно! Главное, чтобы живой остался! Только такие страсти про плен рассказывают! Хуже чем со скотом фашисты с людьми поступают!

– Может быть, и у нас где-то потерялся, – решил успокоить Иван тетю Варю. – Есть ранения, люди память теряют или в гипсах месяцами лежат, ни писем не хотят писать, ни разговаривать. А может и партизанит где-нибудь.

– Да, дай бог! – ободрилась тетя Варя. – Вот и бабы говорят, это не похоронка, жди, может и объявится!

Она долго еще рассказывала Ивану о пережитом. О темном, казалось, покинутом жильцами городе, который озаряли мертвыми сумерками осветительные бомбы, о сотканной лучами прожекторов небесной паутине, о сирене, о бьющих прямо с городских площадей зенитках, о зареве пожаров, о страшном предчувствии, когда казалось, что все... вот-вот, и немец будет на улицах Москвы! Она отдала ему фотоальбом, отцовские часы, «все, Ванюшенька, сделала, как просил», да кое-что из мебели, что приберегла вместе с часами на всякий случай: стул, этажерку для книг. Кожаный диван из зала, чтобы было на чем спать, он забрал сам.

Главред столичной газеты, которого заселили с семьей на их место, почтительно помог ему перетащить этот диван, интересовался, что еще надо, предлагал за оставшуюся мебель родителей деньги, настаивал, но Иван отказался. Вечером редактор позвал его ужинать, поста-

вил бутылку и устроил настоящий допрос – выпрашивал о Сталинграде, обещая статьи о героях.

Дружбы, впрочем, у них не получилось. Спустя время, редактор начал исправно писать на Ивана жалобы по поводу его пьянства и шумного поведения. Приходил участковый, видел на гимнастерке Ивана нашивки по ранениям, россыпь медалей, два ордена и ограничивался беседой, в конце которой просил быть тише, не связываться, не трогать «тыловую мышь» и не отрывать милицию от серьезных дел. И дал срок – неделю, чтобы устроиться на работу или учебу. Хватит, отдохнул.

Пил Иван действительно крепко в ту пору. Мать умерла в клинике: сердце остановилось, так и не смогло перемочь гибель дочери и мужа. И была в душе огромная пустота с призраками прошлого, которые продолжали жить в квартире, незаметные другим. Потому и пил он, что невозможно было сидеть в этой тишине и каждый вечер осознавать, что ты остался один. Вскоре его начало выворачивало желание снова оказаться на фронте, который после Курской битвы тронулся и покатился на запад.

Иван ходил в военкомат, убеждал, что нога не болит, и он уже почти не хромает. Два раза ему назначали комиссию, и оба раза браковали. Доктор ставил его лицом к двери, сам отходил к окну и молчал. А потом уверял, что шептал цифры, которые Иван должен был услышать.

– Да Вы громче-то говорите! – возмутился Иван, но доктор непреклонно качал головой и садился к столу писать в карточке отказной приговор.

Потом Ивану неожиданно предложили место в артиллерийском училище имени Красина, которое вернулось в Москву из Миасса, и он ожил, собрался, снова надел военную форму и почти год преподавал курсантам матчасть, делился опытом маскировки, выбора позиции на оборонительных рубежах в полевых и городских условиях.

Когда в середине осени 1944 года Красная Армия вступила на территорию Германии, руководство училища устроило для командиров и преподавателей праздничный обед в клубе. Выпили за Сталина, за Победу. Разговор зашел, между прочим, о том, как теперь должны вести себя на вражеской территории наши войска.

– Разумеется, Красная Армия как армия самого гуманного и передового государства рабочих и крестьян не будет вымещать справедливый гнев на мирных гражданах Германии. Именно такой приказ отдан нашим солдатам, – важно и со знанием дела заявил комиссар училища.

– Ну да, конечно... – громче чем следовало язвительно заметил Иван. Все обернулись в его сторону.

– Вы не согласны с моими словами, товарищ Лебедев? – неприязненно, с вызовом спросил комиссар.

– А с какого нам их жалеть? – ничуть не смущаясь, ответил Иван. – Может, удила и накинут, да только я полтора года уже порох не нюхаю, а все запал не остыл. А ребята натерпелись да нагляделись, пока наступали! Должок с процентами занести надо!

– Кто ты такой, сопляк, чтобы обсуждать приказ самого товарища Сталина?! – гневно начал подниматься комиссар.

– Я пионер, который сдал государству двести тонн металлолома из немецких танков! – ответил Иван, тоже поднимаясь, готовый принять вызов.

Их перепалку торопливо пресекли, чтобы не вышло осложнений.

Но на следующий день Ивана попросили написать рапорт «по-хорошему» и списали на гражданку вчистую.

Он устроился на «Компрессор», обучился токарному делу, и жизнь потекла в серых буднях. Работы было много. По двенадцать часов, до ломоты в покалеченной ноге стоял Иван у станка. Вертящаяся заготовка, которой он придавал форму для чей-то будущей смерти, снилась ему еженощно, и в этом непрекращающемся вращении терялся счет времени. Радовало

только зримое приближение конца войны. Зверя давили, загоняли в угол, отнимали город за городом. Гремели победные салюты в честь этого. Но радость была с горечью пополам. Гнобила тоска, чувство одиночества и ненужности.

Из всей развеселой компании детства никого не было рядом. Никого. Остался один юродивый Вася. Юродивым они его звали за хиляющую походку и невнятную речь. Была у него какая-то болезнь с нервами, а голова варила лучше, чем у многих. Как-то, когда Иван еще только вернулся, Вася окликнул его на улице, подошел, качаясь из стороны в сторону и, цепляясь для рукопожатия худой костистой ладонью, замычал:

– Я рад, что ты живой! Из наших только ты и я живы со всего двора. Керосина под Волоколамском ранило, умер в госпитале, а на Лемеха со Скворцом еще летом сорок первого похоронки пришли. Ты же с ними всегда хороводил. А помнишь, немец еще с вами был? Куда он, интересно, делся потом? Знали бы тогда – сами бы башку ему открутили, да? Ты не представляешь, как я завидовал тогда вам всем! Здоровым и сильным. А вот теперь некому мне завидовать!

Иван со смутным ужасом слушал его бормотание, хотел отцепиться, уйти, но Вася не отставал, тащился следом, с надрывом продолжая выговаривать:

– Их всех убило, а я, кособокий, жив. А был бы здоровым, тоже погиб бы! Получается, мне благодарить надо Бога за уродство свое!...

Приходил на ум разговор, уже после войны, с крупным громкоголосым мужиком в кабинете начальника цеха. Сам начальник сидел тут же. Все трое курили – дым коромыслом, и мужик взахлеб рассказывал про станкостроительный завод где-то в Сибири, стремительно превращающийся в промышленный гигант. Жаловался на нехватку кадров, красочно описывал перспективы нового места.

– Токаря толковые во как нужны! – резал он себе по горлу ладонью.

В то же время Иван Петрович помнил, что в тот раз отказался! А прошло время, явился к начальнику сам, сказал, что уезжает. Квартира, населенная чужими людьми, продолжала мучить прошлым, душила воспоминаниями. Скорее всего, он просто бежал от них.

Еще он плохо помнил людей, с которыми общался в ту пору. Всех этих многочисленных приятелей, сослуживцев, собутыльников. Женщин вообще долгое время, пока не появилась Нина, воспринимал как однородную массу, как одну из физиологических потребностей на уровне еды и сна.

Война отпускала его постепенно, но все равно никогда полностью не оставляла. Он твердо продолжал придерживаться некоторых выверенных для себя правил, первое из которых было не прощать и не терпеть чужие слабости.

Порой это принимало странные формы. Так, сентиментальность и трусость он порой не различал, как собака не различает цвета, – считал одним пороком. Особенно ненавидел хвастунов и врунов. По субботам, когда после бани зависали шумной компанией в пивнушке и цеплялись разговорами с другими компаниями, часто затевал драку. После пива героев было много, и геройских историй тоже. Иван слушал их, ощеряясь, блестел металлической коронкой и не сводил с рассказчика тяжелого хмельного взгляда.

– Ты в каком обозе это слышала, Маруся? – вдруг перебивал он особо красочную историю, и тут же вспыхивала, как солома от брошенной спички, ссора. Трещали от захватов рубахи, лопалось об пол стекло, пенная лужа растекалась под ногами. Вся эта суета выталкивалась на улицу, где кулаки шли уже в полный ход, пока не останавливала их яростная трель милицейского свистка или пока вид поверженного соперника не унимал зlobу.

Случалось, Ивана доставляли в отдел, и пока писали протокол, он сидел на жесткой скамье за загородкой, промакивал тыльной стороной ладони разбитую губу и пьяно мигал, отрешенно глядя перед собой.

– Дата Вашего рождения? – спрашивал его дежурный, поднимая голову от протокола.

– Открытку поздравительную хочешь послать? – дерзил в ответ Иван, и дежурный возмущенно открывал рот, не соображая сразу, что ответить.

– Опять этот герой, товарищ подполковник, – пожаловались как-то на Ивана вошедшему офицеру – начальнику отдела.

Офицер быстрым пружинистым шагом шел к своему кабинету, увидел сидящего Ивана и притормозил. На вид ему было лет сорок, круглое мясистое лицо выглядело приветливым и добродушным, но в самой фигуре чувствовались строгость и военная выправка. Китель был безупречно чист и отутюжен.

– Так-так... гражданин Лебедев снова почтил нас визитом, – подполковник приподнял фуражку, чтобы бережно пригладить черные с сильной проседью волосы, зачесанные назад, потом взял бумаги у дежурного, отступил к окну, где больше света, прищурился на записи. – И снова мордобитие! Не устали Вы еще, Иван Петрович? Так и на реальный срок можно навоевать. Неужели Сталинграда не хватило?

– Ты еще будешь за Сталинград мне говорить, – хмуро огрызнулся Иван.

– А почему нет? – дружелюбно ответил подполковник. Подумал о чем-то, постукивая свернутым в трубку протоколом по бедру, потом кинул бумаги обратно на стол дежурному и мотнул головой. – А ну-ка, айда ко мне в кабинет!

В кабинете подполковник налил Ивану из графина стакан воды, выложил на стол коробку папирос.

– Кури, если хочешь. Может чая поставить?

– Ты меня чай позвал пить? – неприятно спросил Иван, но от воды не отказался. Не спеша выпил, стукнул о стол пустым стаканом, взял папиросу.

– Где в Сталинграде воевал? «Отечественной» там заработал? – протянул ему зажигалку подполковник.

– Обоих степеней, – с вызовом ответил Иван и показал подполковнику два пальца. – Откуда знаешь? Справки наводил что ли?

– Бронейщик? – нисколько не смущаясь вызова, поинтересовался подполковник. – За танки ордена хорошо шли. Но только сначала. Дурни! Разбомбили город и сами себе улицы закрыли завалами!

– Да, с ПТРД ползали, пожег малость. После того как орудие наше расколотили. Я орудием командовал до этого, – Иван подкурил и вернул зажигалку.

– А осенью, сентябрь-октябрь на промзоне тебя не было?

– Тоже что ли оттуда? – догадался Иван и посмотрел на подполковника более благожелательно, но по-прежнему с превосходством.

– Девяносто вторая стрелковая бригада. Слышал?

– Морячки?

– Ага, из морячков собрали! Я лично на Северном флоте служил до этого. Капитан-лейтенантом.

– Морячки давали жару, – тихо и уважительно проговорил Иван.

– Еще бы... Я за две недели так нажарился... у меня от роты в первые же три дня меньше отделения под командованием осталось. Мы центр сначала городской чистили. А потом уже нас к «Баррикадам» отвели, да на элеватор.

– Я эти «Баррикады» на пузе все исползал вдоль и поперек! – оживился Иван. – Два танка там подкараулил и сжег. Их так и не утащили немцы оттуда, в зиму ушли стоять. У меня на танки их чуйка тогда была уже особая! Как орехи колотил! Разуешь, паскуду, и между упорных катков садишь!

Оба они теперь глядели друг на друга с искренним интересом и с желанием делиться информацией. Иван оставил свой тон и говорил с подполковником с уважением.

Разговор потек сам собой. Вспомнили ползучие немецкие атаки, как сходились в рукопашку в развалинах заводских корпусов. Рикошетом от железа летали пули, тягучий многоступенчатый русский мат мешался с отрывистыми немецкими командами, и только предсмертные крики боли были общими, неразличимыми. Как, дрогнув, расцеплялись, откатывались от них немцы, стараясь увести раненых, а то и оставляя их в панической спешке, и часто в безумной горячке они добивали этих раненых отточенными лопатками, штыками, просто камнями или оттаскивали к себе, как волки добытых овец, при этом дико, точно пещерные люди, орали вслед отступающим.

Вспомнили, как за спинами даже в самое пекло сражений продолжали работать мастерские, как, ревя дизелем, шел оттуда снова в бой отремонтированный Т-34, как радостно было встречать живительные ручейки подкреплений, несущих боеприпасы, махорку и водку, как горчила во рту горелая пшеница из разбитых бетонных бункеров элеватора, которой в основном и питались в те дни.

– А помнишь еще «говорилки» немецкие? Весь сентябрь обращения крутили, чтобы сдавались. Даже песни наши ставили! – с улыбкой спросил вдруг подполковник. Он сидел напротив, придвинувшись через стол так, что до Ивана доходил запах его одеколона. – Дурни! Не понимали разве, что под песни родные и умирать легче!

– Я и их «говорилки» помню, и наши потом. Тявкают, не затыкаясь, что-то по-немецки, тоску только наводят. Один черт фрицы сдавались туго. Лишь после официальной капитуляции валом поперли.

– Ну, все равно, сдавались же! Это наши их агитацию посылали в одно место!

– Да всякое было, что душой кривить! Откуда тогда у немцев эти чертовы хиви брались? Помню, и у нас в сентябре двое тягу дали, – ответил Иван. – Ушли ночью, как мыши, когда оба в дозоре были. Хватились их быстро, да толку – след уже простыл! Так один спустя день прорезался, гаденьш. Начал по этой самой «говорилке» выступать. Чуть затишье, так мелет, как, дескать, его немцы хорошо приняли, что жратвы и курева без меры, и с водкой проблем нет, что он скоро домой в Ростов поедет, и если мы все поступим так же, то войне конец, всех по домам к женам и детям отпустят. Ребята сидят, обоймы, ленты патронами набивают, да в ответ ему слова ласковые выкрикивают. Развлекаются! А тот, помню, все «мужики» говорил, к нам обращаясь. Видимо, предательство даже у гнид язык отнимает, и они не могут выговорить «братья», «товарищи», «друзья» ... Долго, впрочем, он не выступал. Немцы сообразили, что мы только сильнее звереем от этих концертов. Убрали нахрен агитатора. В Ростов ли, в расход, неизвестно. Взводного только жалко, который у них был. Пострадал пацан за гадов.

Взводный был разжалован в рядовые в течение десяти минут. Ровно столько потребовалось двум пыльным, злым, с красными от бессонницы глазами особистам, прибывшим по факту дезертирства, чтобы, вжимая головы в плечи от близких минометных разрывов, составить на планшете нужную бумагу. Потом они велели снять лейтенанту с петлиц кубики (у бедняги даже слезы навернулись от стыда и обиды) и ушли траншеями и ходами восвосяи.

– Реагировали жестко, – согласился подполковник.

Он смотрел теперь на Ивана с внимательным прищуром, вертел в руках зажигалку, размышляя о чем-то, о чем надо принять решение.

– Еще одного, помню, тогда же, в сентябре, расстреляли, – продолжал, откинувшись на стуле, Иван, глядя в ответ подполковнику прямо в глаза. – Наш же ротный в расход и пустил. А знаешь за что? Человек лег. Как конь на борозде обессиленный. Ему очередь на передок выдвигаться, а он не шевелится. Дядьке, помню, лет под сорок было. Нам, молодым, стариком уже казался. Небритый, худющий. Не могу больше, говорит, как хотите, а мочи нету уже. Ротный – вроде мужик нормальный, а тут, как взбесился – пинками начал поднимать, орать по матушке, за кобуру хвататься. А тот даже не сопротивляется. Однако уперся. Что хочешь, говорит, делай, не пойду, хоть стреляй! Ну, ротный и дал команду, вывести его. Сам следом.

Думали, отвесит для проформы пару оплеух и этим все кончится, ан нет, слышим – ТТ хлопает, раз, да другой. Потом ротный возвращается, пистолет в кобуру заправляет и смотрит на нас так, что мороз по коже! Обессиленных в роте вообще с тех пор не было! А дядьку того я еще утром видел – он как по стенке сполз, голову опустил на грудь, так и сидел на корточках, точно закемарил. И знаешь, что интересно? Мне было в тот момент ровно. Убили и убили. Жалости совсем не было, потому что через час-другой или на следующий день меня самого могла смерть ждать. Я просто мимо прошел!

– Какая тут может быть жалость? Прав твой ротный был на все двести! – в голосе подполковника скользнула чуть слышимая стальная нотка начальника.

– Нет, не прав, – с вызовом ответил вдруг Иван. – Я видел, как после 227-го приказа людей за трусость на месте стреляли. Когда по степи летом откатывались, у некоторых полков штабы на машинах на много километров вперед самих полков бежали! Ерунда творилась, и надо было в чувство приводить. Но тут другое дело. Просто ослаб человек, до предела дошел. И если мы, кони двадцатилетние, еще на здоровье вылезали, то...

– Чепуха! – перебил Ивана подполковник. Стальная нотка усилилась и зазвенела уже отчетливо. – И ты это знаешь. А забыл, я тебе напомню! Потому что сам людей поднимал на смерть. И они должны были подниматься без обсуждений и пререканий. А что оставалось твоему ротному? Дать два наряда? Отправить на гауптвахту? Да этому дядьке, как ты выразился, даже трибунал на тот момент был не страшен! И что? Дай ротный слабину, оставь его, с каким чувством другие бы пошли в бой? А так сам заметил, что хворых и уставших после этого не было!

– Сам-то стрелял своих? – прищурился Иван. К нему вернулась прежняя развязность. Ленивым движением он взял из коробки новую папиросу и демонстративно долго начал раскатывать ее между пальцев, постукивать, мять в гармошку гильзу.

– Нет, слава богу, – смягчил тон подполковник. – Но были случаи, приходилось пистолетом в зубы тыкать.

– Любите вы, тыкать! Чуть что... Один такой в меня раз решил тоже ткнуть. Я в расчете еще орудийном был. Несколько суток на марше шли без отдыха. Степи, солнце палит – воды в обрез! «Юнкерсы» скучать не дают – гостинцы подкидывают периодически. Сон и жратва – все по-собачьи. Кое-как и урывками. Где вставали на привал, там и ложились, и засыпали через секунду. И слышу как-то, боец мой «смирно» крикнул. А у меня уже глаза слиплись, шевельнуться не могу. Пошли вы все, думаю, мелкими шагами к такой-то матери! А над головой кто-то уже квакает: «Встать, товарищ сержант!». И лошадь фыркает. Глаза открываю – точно, боров на мерине нависает. Не понять, толи с приказом каким прибыл, толи с вопросом. Сам, гад, явно под градусом. Орать вдруг начинает на меня – распустились, мол, дисциплину забыли! И ручонку так, между делом, на кобуру кладет. Ну, я молча, не поднимаясь, ППШ и наведи на него в ответ. Полный ахтунг! Имя! Фамилия! Трибунал! Расстрел! Но руку с кобуры сдернул тут же, как ожегся. Пообещал закатать в штрафники и поцокал дальше.

– И что, были последствия?

– Какие нахер штрафники? Мы к Сталинграду отходили. Там с конца августа один сплошной штрафбат начинался.

– А ты еще тот, оказывается, тип был, – улыбнулся подполковник.

– Я и сейчас еще тот тип, – не ответил на улыбку Иван.

– Слушай, – явно решил с мыслью подполковник. – У нас тут в доме офицеров что-то вроде боевого братства организовалось. Человек двадцать. Только участники битвы. Собираемся на выходных, на праздники. Общаемся, списываемся с другими городами, ищем живых однополчан. Приходи! Ерунда, что не в звании. Мы все сейчас на равных. Может, меньше пьянствовать будешь, меньше драться. Доиграешься же! Недавно вот в Октябрьском районе

такой же как ты буян по пьяни ножом пырнул товарища. Разошлись во мнениях, кому труднее было.

– Не, – протянул Иван, – мне на собрания лень ходить.

– И что? Дальше пить собираешься?

– Ты не пьешь?

– Пить можно по-разному.

– Пить надо досыта! – весело ответил Иван.

Они помолчали, разглядывая друг друга. Один с сожалением, другой с вызовом.

– Мда-а, – разочарованно протянул подполковник, – не получилось у нас разговора. Не поняли мы друг друга. Жаль.

– Да потому что разговор у тебя не тот! – вдруг твердым и злым голосом ответил Иван. – О чем ты хочешь говорить? Как правильно сражаться и умирать за Родину? Да только жизнь у каждого одна. И за Родину всего раз можно умереть! Нет живой и мертвой воды, как в сказке, чтобы ожить и умереть лучше, красивее, да с большей пользой! Зачем же тогда стрелять человека, как пса? Он, может быть, до этого каждый день в рукопашных психику себе сжигал и жилы тянул! Да пожалей ротный того дядьку, думаешь, мы бы колени подогнули и отказались воевать? Думаешь, он сам бы не очухался после? Пусть для смерти, но достойной!

– Постой, постой, – запротестовал подполковник. – Я совсем другое имел в виду. Наш боевой дух ничем нельзя было сломить!

– Любой дух можно сломить, пока человек живой. Навеки непобежденными только павшие остаются!

Вспышка злости прошла, и сонливая усталость, безразличие и полное нежелание продолжать этот разговор накатили на Ивана. Он махнул рукой и поднялся.

– Я пойду, или тут как-то с протоколом еще не ясно?

– Иди, – буркнул подполковник, тоже поднимаясь и пересаживаясь к себе за стол. – Проспишься, сопли высморкаешь, переменишь решение – приходи. Мы своим братьям всегда рады!

– Постой-ка! – окликнул он Ивана от дверей еще раз. – Ты этих мыслей насчет боевого духа больше нигде не повторяй! Просто совет. И буянить прекращай, иначе закрою!

## 5

С людьми он сходилась туго. Знакомых было много, даже чересчур много, но тех, кто мог заступиться за черту, на живую территорию его души, не было. Окружающие в основном сторонились его хмурости и раздражительности, опасались и часто осуждали Ивана.

Однако были и такие, которые, напротив, тянулись к нему. Удивительно, были это люди разные: от фронтowych циников, эдаких лихих тёркиных со случаями «из жизни» на любую ситуацию, до падких на сентиментальность идеалистов, не воевавших ни дня. Что-то в нем подчиняло их всех. Ему хотели угодить, ему боялись перечить. Он же воспринимал все как должное. Эта же хмурая властная черта влекла к нему и женщин, до которых Иван был весьма охоч, но от разговоров с которыми быстро и смертельно уставал.

Все переменялось, когда в его жизни появилась Нина. Появилась неожиданно даже для Ивана, еще не планирующего связывать себя отношениями с женщиной. Нет, мысли, конечно, такие были, но с какой-то отдаленной перспективой. Это должно было случиться, но не сейчас, а в неопределенном будущем. Однако судьба распорядилась по-своему.

В парке были танцы. Обнесенная разноцветными лампочками площадка погружалась в теплую темноту вечера. Молодежь, как мотыльки, набивалась в этот круг света, топталась и кружилась под бодрые звуки аккордеона.

Веселая девичья компания переглядывалась с ними, заводскими парнями. Осознавая свою малочисленность и ценность, они посылали им в ответ многозначительные взгляды, и девушки, заслоняясь ладонями, прыскали друг другу в уши смешками и замечаниями.

Одна, самая маленькая и ладная, ни с кем из подруг не перешептывалась, но особенно внимательно, неотрывным взглядом темных, чуть раскосых глаз изучала его, Ивана, улыбалась именно ему! И Иван, не откладывая дело в долгий ящик, поправив за лацканы пиджачок, вразвалочку, все еще чуть прихрамывая на раненую ногу, направился к ней, к легкой, как ему казалось, добыче.

Когда танец закончился, он девушку не отпустил. За те короткие волнительные минуты, пока Иван смотрел на ее лицо, на аккуратный пробор прически, на ситцевый узор сарафана, а мир размытой декорацией медленно вращался вокруг них, он почувствовал, что Нина совершенно не похожа на тех девушек, с которыми ему приходилось общаться прежде. Иван не мог разобраться в этом чувстве, не знал, что с ним делать. Он молчал, удивлялся подступившей робости, от волнения курил и боялся, что Нине станет скучно и она покинет его.

Но Нина не отошла, осталась с ним, мало того, заговорила сама, и не дежурными анкетными вопросами, а живой интересной беседой, вовлекая в нее Ивана. Танцевали еще. Нина показывала ему движения вальса, которые Иван от смущения поначалу исполнял нарочно неуклюже (хотя быстро сообразил, как правильно надо вести партнершу под эти «раз-два-три»), а потом в какой-то момент сам вошел в кураж, решил дать ответку – сунул аккордеонисту червонец, пошептал на ухо заказ и начал отбивать под «Яблочко» чечетку. На площадке сразу образовался круг, ему принялись хлопать, подбадривать, но Иван смотрел только на Нину и танцевал только для нее.

«Моряка сразу видно!» – услышал он одобрителный выкрик сквозь аплодисменты, когда закончил и стукнул подбитым железом каблуком одновременно с последним аккордом.

«Моряк, так моряк!» – улыбнулся сам себе Иван, снова обретая уверенность, подходя к Нине победителем, любуясь ее восхищенным взглядом и не обращая внимания на ноющую боль в колене. Как бить чечетку под «Яблочко», ему показывал еще отец, которого в свою очередь обучили этому танцу в Петрограде веселые клёшники с алыми лентами на бушлатах. И, бог знает, сколько часов провел Иван, тренируясь на паркете в отцовских заграничных туф-

лях, прежде чем ушла кособокость в движениях. Думал, сейчас не вспомнит, а ноги сами все сделали!

После танцев, разбившись по парам, шли темными аллеями, старались для безопасности держаться вместе как можно дольше. Дрянные вещи случались часто. Особенно с одинокими. Бандитя, как мелкого, так и опасного, в ту пору было особенно много, поэтому Иван на всякий случай носил в кармане самодельную копию ножа разведчика, но в дело, к счастью, ни разу его не пустил. Может потому, что урки еще на расстоянии своим особым чутьем различали в нем более сильного хищника, чем они сами, и пропускали, не рискуя связываться.

Проводив в тот вечер Нину до дома, Иван привычно, как само собой разумеющееся, привлек ее для поцелуя, взял нетерпеливой рукой за грудь, но Нина выскользнула из объятий. Не возмущаясь, не строя из себя недотрогу, как-то по-особенному улыбнулась, уже сильно волнуя Ивана этой улыбкой, и погрозила ему пальцем.

«Решила поиграть со мной, коза?» – нарочно грубо, чтобы побороть смущение, пробормотал Иван, возвращаясь в общежитие, и понял, что не может даже мысленно повторить о Нине пошлость или грубость.

Они начали встречаться. Встречи долгое время не имели того продолжения, на которое Иван рассчитывал, но, удивительно, это его не волновало! Было просто хорошо. Настолько, что хмурость Ивана, когда он видел Нину, начинала утихать, точно приятную прохладу прикладывали к ожогу, а зверь внутри него, умиротворенный этим новым чувством, укладывался, спокойный и послушный.

Иван и сам не заметил, как наступил момент, и в его жизни осталась одна Нина. Остальные девушки и женщины словно утратили свой блеск и привлекательность, ушли в серую область равнодушия. Он сам себе поставил на них запрет, и ни разу не нарушил его, потому что не искал более для себя что-то иное. И хотя за все годы супружества он и пяти раз не сказал жене «люблю», она, тихая, спокойная, совершенно бесконфликтная (а только такая и могла ужиться с ним), ни разу не упрекнула его за это, чувствуя в нем главное – надежность и честность, готовность защитить в любой ситуации, от всего враждебного.

Было и еще одно важное обстоятельство, которое Иван осознал чуть позже: появление Нины защитило его и от самого себя, спасло от падения в ту пропасть, по краю которой он гулял.

Первое время, впрочем, он еще катился по инерции своего разгула. После регистрации им дали в бараке комнату – узкую, с покатым сырым полом и мокрыми пятнами на потолке. Иван привел Нину в эту пахнущую плесенью конуру, оставил как часть необходимого интерьера, сам же по привычке ушел встречать с приятелями банную субботу.

Нина не возражала и не скандалила. Даже когда Иван возвращался в мертвецки пьяном состоянии и, едва переступив порог, рушился на пол, она не окатывала его потоком брани и упреков, как поголовно делали в бараке все бабы. Не имея сил затащить мужа на кровать, подсовывала ему под голову подушку, укрывала одеялом, а утром смеясь подносила в ответ на стонущую просьбу кружку холодной воды и предлагала на завтрак несъеденный ужин.

Порой случалось хуже и страшнее. Иван возвращался мятым, в порванной, закапанной кровью рубахе, с разбитым лицом. Это лицо, раздутое синим и красным, сильно пугало ее. Нине казалось, что оно принадлежит не мужу, а подменившему его чудовищу, и она долго не могла уснуть, вздрагивая всякий раз, когда чудовище начинало стонать и бормотать бессвязные фразы.

Но проходили дни, рубаха стиралась и зашивалась, лицо Ивана постепенно заживало, он хмуро каялся, обещая, что впредь будет стараться быть аккуратней, определит себе норму. Целовал жену в теплый нежный висок и несколько следующих недель действительно соблюдал меру.

Потом Нина забеременела, и Иван неожиданно притих. Перестал бузить, с выпивкой практически завязал. Весь смысл и интерес его жизни вдруг переменялись и сосредоточились на ней – жене, вернее, на ее животе, рост и округление которого действовал на него завораживающе.

Каждый день после работы Иван шел с Ниной гулять в городской парк. На выходных в этом парке играл духовой оркестр, они ели мороженое и слушали плавные звуки вальсов. После не торопясь шли в кино, а потом, по дороге домой, делились впечатлениями от картины. И было странно и непривычно для Ивана идти вот так, по-семейному, под руку, и обсуждать не гибель десятков и сотен людей, а чью-то наивную любовь.

К концу лета Нина уже ходила чуть вразвалку. Когда уставала, виновато улыбаясь, искала глазами скамейку или лавочку. Отдыхала на ней, с нежным спокойствием глядя, как Иван, отступив, торопливо курит, стараясь пускать дым в сторону. Это было самое счастливое их время! Никогда более он не говорил с ней так много, так искренне и с такой заботой.

Особенно нравилось Нине, когда Иван беседовал с ее животом. На каком-то этапе он начал говорить с ним сначала шуткой, а потом и всерьез! Гладил упругую белую кожу со струящейся на боку, разветвляющейся веной, отчетливо синей, похожей на татуировку, и рассказывал, как прошел день, что они делали с мамой, добавлял в рассказ шуток, и заставлял Нину смеяться. Потом клал на живот руку и терпеливо ждал момент, когда под ладонью перекатится живая плоть ребенка. И надо было видеть, как он испугался этого движения в первый раз!

В начале октября Нина родила мертвую девочку. Иван долго не мог осознать, как это могло случиться, отчего? Даже после того, как вышел врач и, глядя в сторону, забормотал, что «произошла асфиксия, ребенка спасти не удалось», ему казалось, что это все не может быть правдой. Да и как это могло быть правдой, если еще утром, отводя Нину в роддом, он ощущал, как в радостном предвкушении начинает сильнее биться сердце! Но беда всегда ходит рядом...

«Примите соболезнования», – тронул врач Ивана за плечо и торопливо скрылся за белыми дверями.

Два дня Иван ходил, как во сне. Кошмарном сне, который никак не может закончиться. После стольких смертей он ждал эту обещанную жизнь, ждал, как чудо! И не дождался...

Потом Нину выписали. Иван встретил ее, стараясь не смотреть на счастливых отцов, протягивающих руки за своими свертками тут же в приемной, поцеловал, помог одеться и повел домой. Шел мелкий морозящий дождь. Зонта, чтобы укрыться, не было. Дождь забирался Ивану за шиворот, капал с козырька кепки, пальто Нины потемнело на плечах, но они шли, не ускоряя шага, не обращая внимания на погоду.

Всю дорогу Нина плакала, говорила о тяжелых родах, что ребенок шел неправильно, что пуповина, питавшая его все эти месяцы, превратилась в итоге в удавку. Акушерка кричала на нее, точно она была в чем-то виновата, но никто ничего не смог сделать.

Иван отмалчивался. Дома он уложил Нину в кровать, накрыл одеялом, подкинул в печь дров и, когда жена, устав от долгих слез, уснула, ушел снова. Весь вечер караулил у больницы того врача. Дождался, пошел следом, выбрал удобный момент, по-рысьи накинулся, прижал одной рукой к дощатому забору, другую подчеркнуто сунул в карман.

– А теперь, лепила, рассказывай, как все на самом деле случилось!

Врач, волнуясь и запинаясь, снова повторил весь набор фраз и, дрогнув сильно голосом, косясь на его спрятанную в карман руку, попросил не делать глупостей.

– Все, что было в наших силах, мы сделали, уверяю Вас!

Чувство страшной, бесконечно сильной утраты, настолько сильной, что уже превращала гнев в отчаяние, заставило Ивана отступить.

– Вы молоды, у вас еще будут дети, это просто роковое стечение обстоятельств! – ободрился врач, когда Иван разжал кулак и отпустил ворот его плаща.

– Но этого-то не будет! *Этого* ребенка не будет! – крикнул Иван в ответ, уже уходя, уже из темноты.

Идти домой казалось невыносимо, хотя он понимал, что правильней быть с Ниной. Но не хотелось сейчас утешать, не было сил! Все под тем же мелким октябрьским дождем по дрожащему в лужах отражению фонарей он дошел до скользких ступенек полуподвальной рюмочной, откуда тянуло махоркой и кислым пивом, спустился внутрь, огляделся, выбирая, с кем можно будет закуситься после стакана.

Шапочный знакомый окликнул его, приглашая за столик, и компания, с которой сидел этот знакомый, сдвинулась, давая место, но приветствовала недружелюбно, подчеркнула недовольствие новым собутыльником, расстроившим гладкую до этого момента беседу.

«А вот и вариант», – подумал Иван.

Однако полчаса спустя он рассказывал им, незнакомым мужикам, что у него умерла дочь, и пытался погасить рыдания, которые вдруг начали рождаться внутри, подниматься к самому горлу и рваться наружу. Мужики проявляли сочувствие, наливали ему, хлопали по плечу, пытались успокоить.

– Сонечкой назвал бы! – Иван уронил голову на выставленный локоть и уже не мог сопротивляться слезам, не мог остановиться, удивляясь, что первый раз в жизни плачет так сильно и свободно! И зарыдал еще сильнее, с новым надрывом, когда понял, что давно уже плачет не по дочери, а по сестре... по матери... по отцу..., первый раз за все время по-настоящему оплакивая их!

## 6

Сына Алексея Иван Петрович любил, но по мере его взросления все чаще раздражался на него, ругал, пытаясь добиться иного поведения, иного отношения, увидеть в нем себя самого – привычную картину веселого хулиганистого пацана, с которым будет интересно. Но мальчик рос тихим, уступчивым, безответным на обиду. Отца боялся с самого раннего детства, и этим страхом еще сильнее отвратил от себя его сердце.

– Ты его в животе не перепарила? – с досадой спрашивал Иван жену. – Живет, как Бабаем пуганый!

– Сам же и запугал! – заступалась за сына Нина.

Иван пропускал это обвинение мимо уха и продолжал высказывать претензии.

– Спортom не занимается, – выставлял и загибал он пальцы, – отдавал в бокс – сбежал со второй тренировки, в футбол не играет, с пацанами не контактит.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.